

Дмитрий Мамин-Сибиряк

Охонины брови



Дмитрий Мамин-Сибиряк

Охонины брови

«Public Domain»

1892

Мамин-Сибиряк Д. Н.

Охонины брови / Д. Н. Мамин-Сибиряк — «Public Domain»,
1892

«В нижней клети усторожской судной избы сидели вместе башкир-переметчик Аблай, слепец Брехун, беломестный казак Тимошка Белоус и дьячок из Служней слободы Прокопьевского монастыря Арефа. Попали они вместе благодаря большому судному делу, которое вершилось сейчас в Усторожье воеводой Полуектом Степанычем Чушкиным. А дело было не маленькое. Бунтовали крестьяне громадной монастырской вотчины. Узники прикованы были на один железный прут. Так их водили и на допрос к воеводе...»

Содержание

Часть первая	5
I	5
II	9
III	13
IV	16
V	20
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Охонины брови

Часть первая

I

В нижней клетки усторожской судной избы сидели вместе башкир-переметчик Аблай, слепец Брехун, беломестный казак Тимошка Белоус и дьячок из Служней слободы Прокопьевского монастыря Арефа. Попали они вместе благодаря большому судному делу, которое вершилось сейчас в Усторожье воеводой Полуектом Степанычем Чушкиным. А дело было не маленькое. Бунтовали крестьяне громадной монастырской вотчины. Узники прикованы были на один железный прут. Так их водили и на допрос к воеводе.

– Имею большую причину от игумена Моисея, – жаловался дьячок Арефа товарищам по несчастью. – Нещадно он бил меня шелепами¹... А еще измором морил на всякой своей монастырской работе. Яко лев рыкающий, забрался в нашу святую обитель... Новшества везде завел, с огнепальной яростью работы египетские вменил... Лютует над своею монастырскою братией и над крестьянами.

– И долотовал, – отвечал слепец Брехун. – Как крестьяне подступили к монастырю, игумен спрятался у себя в келье... Не поглянулось, как с вилами да с дреколем наступали, а быть бы бычку на веревочке.

– Жив смерти боится, – угнетенно соглашался Арефа и тяжело вздыхал.

– А тебя-то он за што изживал?

– Немошь у меня, Брехун.

– Насчет Дивьей обители, што ли? – ядовито спрашивал Брехун. – Может, дьячиха нажалась отцу игумену...

– Тоже и сказал человек! Статочное ли это дело про Дивью обитель такие словеса изрыгать?

Слепец Брехун любил подтрунить над дьячком: надо же было как-нибудь коротать долгое тюремное время.

– Немошь у меня к зеленой вину, – объяснял дьячок, – а соблазн везде... Своя монастырская братия стомаха ради и частых недуг вкушает, а потом поп Мирон в Служней слободе, казаки из слобод, воинские люди... Ох, великое искушение, ежели человек слабеет!.. Ну, игумен Моисей и истязал меня многожды...

– И шелепами, и плетями, и батожем?

– Всячески... Он и на попов не очень-то глядит, чуть што, сейчас отправит на конюшенный двор, а там разговоры короткие. Раньше игумен Моисей в Тобольске происходил служение, белым попом был. Ну, а разъярится, так необыкновенную скорость на руку оказывал... Так и попадью свою уходил: за обедом костью говяжьей ее зашиб, как сказывают. Вот после этого он и принял на себя иноческий чин... На великой реке Оби остояков крестил, монастырь поставил, а потом к нам попал, да под духовные штаты и угодил. Вотчина монастырская громадная: близко ста тыщ десятин земли, на них девять деревень, да четыре поселка, да шесть заимок, а еще лесу не считано, да хмелевые уголья, да три рыбных озера, да двои рыбные пески в низовье Яровой... Свои четыре мельницы было, кожевня, свешная, а в городах везде подво-

¹ Шелепы – мешки с песком. (Прим. Д. Н. Мамин-Сибиряка.)

рья. Одного сена ставили больше двенадцать тыщ копен... Монастырских крестьян близко трех тыщ податных душ состояло и одного оброка тыщу рублей ежегодно приносили. Прочетал наш Прокопьевский монастырь, кабы не новые духовные штаты: все ограничили сразу – и землю, и крестьян, и всякое прочее угодье. Вот игумен-то Моисей и лютует... Приехал он на большое, а вышло маленькое. А монастырь ограничили, чети² не оставили, а тут еще перед самыми штатами дубинщина ваша. Меня же прицепили к ней неповинно.

– Сказывай! – недоверчиво ворчал Брехун. – Вы больно умны с игуменом-то, а другие одурели для вас. Какой крестьянин без земли, а земля божья... Государский указ монахи скрыли. Кабы не воевода Полуехт Степаныч, так трягнули бы вашим монастырем. Погоди, еще тряхнут.

– Нечем трясти-то, коли все отняли.

– Шука умерла, а зубы остались.

Худенькое и сморщенное лицо Арефы с козлиною бородкой во время разговора все подергивалось, точно сейчас под кожей у него были натянуты нитки. Сгорбленный и худой, он казался старше своих лет, но это только казалось, а в действительности это был очень сильный мужчина, поднимавший одною рукой семь пудов. Синий подрясник из домашней крашенины придавал ему вид отшельника. Желтые волосы были заплетены в две жиденьких косички, постоянно вылезавших из-под высокого стоячего воротника подрясника. Слепец Брехун, потерявший глаза еще во время второго башкирского бунта³, когда по Зауралью проходили воровские башкирские шайки под предводительством Пепени, Майдары и Тулкучуры, являлся полною противоположностью «мухортого» дьячка. Это был плотный, совсем лысый старик с неподвижным лицом, как у всех слепцов. Он был в одной холщовой рубаше и таких же портах. Дьячок Арефа и слепец Брехун вели между собой долгие разговоры, причем первый рассказывал больше про свой монастырь, а Брехун вспоминал свои скитанья по Зауралью и Оренбургской степи.

– Бывал я и в степе, – задумчиво говорил дьячок. – С благословения прежнего игумена Поликарпа ездил на рыбные ловли и по степную соль на озеро Ургач. А все домой тянет: не могу без Служней слободы жить.

– Как цепная собака без своей конуры?

– Тянет меня и сейчас: хоть бы одним глазком поглядел, што делается там... Одной-то дьячихе моей трудненько управляться. Тоже и пашенка есть, и скотинка, и огород, – по женскому делу весьма трудно за всем углядеть. Одна надежда на нашего заступника Прокопия, иже о Христе юродивого: все за ним сидим, как тараканы за печью. Орда-то прежде частенько-таки набегала на монастырскую вотчину, – домишки сожгут, а людей поколют или в полон возьмут. Не можно было ущититься, а спасал все он же, преподобный Прокопий. Великая сила ему дана на всю сибирскую сторону. Восьмого иулия монастырь празднует, и торжок бывает в нашей слободе, так и называется – прокопьевский торжок.

– Прокопьев-то день по всей Сибири прошел, – объяснял Брехун, – крестьяны по всем местам его весьма уважают.

В этих беседах не принимали участия только башкир Аблай и казак Белоус. Первый, правда, по вечерам затягивал свои унылые башкирские песни про старшину Сеита или Алдар-бая. Это пение походило на протяжный волчий вой и нагоняло на всех страшную тоску. Подземелье, где сидели узники, выходило на божий свет всего одним оконцем, обрешеченным железом. Слабая полоса света не освещала и четвертой части подземелья. Особенно трудно было ночью, когда узники укладывались вповалку на земляной пол и каждое движение во сне

² Четь – четверть. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

³ Второй башкирский бунт – так называлось восстание башкир 1737–1739 гг. под руководством Бепени, Майдара, Тулкучуры (у Мамина-Сибиряка – Бепени, Майдары, Тулкучуры).

сопровождалось лязгом железа. Другим неудобством было то, что рядом с этим подземельем находилась воеводская «запличная», где снимали показания с провинившихся. Работа начиналась с раннего утра, и слышно было, как хрустели кости на дыбе, а палачиный кнут резал живое человеческое тело. Мертвая тишина оглашалась отчаянными воплями, хрипением и визгами, как визжит железо под пилой.

– Ох, горе душам нашим! – вздыхал Арефа, съеживался и шептал молитву.

– Што, не глянется? – смеялся Брехун. – Это, видно, получше будет ваших монастырских шелепов... Воевода Полуехт Степаныч тешит свою душеньку, а катом⁴ у него башкир Кильмяк – такая собака, што не приведи бог во сне увидеть... С одного раза может убить человека, когда расстервенится. Кнутом наказали душ пятнадцать за дубинщину, а другим ноздри повырывали... И игумен вместе с ним: все, слышь, прибавки просит. Тоже с Баламутских заводов сам Гарусов наезжал: у него с Полуехтом-то Степанычем рука руку моет.

– Слышь, как резанул опять Кильмяк?.. Батюшки-светы, преподобный Прокопий! – молился вслух Арефа, прислушиваясь к запличной работе. – Што же это будет такое? Душеньку вынули...

Молчал один Белоус, хотя ему приходилось больше всех бояться кровавой работы Кильмяка. Это был важный преступник, попавшийся с поличным, и разлакомившийся кровавою расправою воевода приберегал его на закуску. Все остальные содержались по оговору или по подозрению, а дьячок Арефа представлен был самым грозным игуменом Моисеем, как зачинщик и подстрекатель крестьянского бунта. Белоуса уже два раза выводили на допрос, и два раза его приносили с допроса замертво и в таком виде приковывали к пруту. Он дней по пяти не мог подняться на ноги, и Арефа залечивал раны на спине его хлебным мякишем. Искусный был дьячок и слыл за колдуна.

Узники содержались давно, а Белоус не сказал и десяти слов. Его молчание было нарушено только раз, именно утром, когда в оконце узникам подавали еду, то есть несколько ломтей ржаного хлеба с луком. В это утро, вместо усатой солдатской рожи, в оконце показалось румяное девичье лицо.

– Здесь батя? – спрашивал девичий голос, перехваченный слезами.

– Охонюшка, милая... да тебя ли я вижу, свет мой ясный! – откликнулся Арефа, подходя к оконцу. – Да как в город-то попала, родная?

– Матушка прислала, батя... Горюет она по тебе, а тут поп Мирон наклался в город ехать, вот матушка и прислала меня проведать тебя. Слезми вся изошла матушка-то...

– Да как же ты, Охонюшка, в чужом-то месте не боишься?

– А мы на монастырском подворье встали, батя... Ловко там. Монашек Гермоген там же... Он еще не монашек, а на послушанье.

– Какой Гермоген, Охонюшка? Чего-то ровно такого не упомяну в Прокопьевском... Разве пришлый какой?

– Нет... Пономарь-то наш Герасим, помнишь? – он самый и будет. Сейчас после святой пошел в монастырь и теперь в служках, а потом постригется.

– Ах, какой грех... то есть оно, конечно, божье дело, а жаль парня. Как же это так вышло-то, Охонюшка?.. Ну, его дело, ему и ближе знать. А поп Мирон што?

– Ничего, батя... Пытал он Герасима-то уговаривать, тот не послушался. Надоело, говорит, в миру жить... А я к тебе, батя, каждое утро буду приходить. Матушка гостинцев прислала. «Отдай, говорит, батю», а сама без утыху плачет.

Охоня присела к окошечку на корточки и тоже всплакнула, когда увидела исхудалое и пожелтевшее лицо старика отца. Это была среднего роста девушка с загорелым и румяным лицом. Туго заплетенная черная коса ползла по спине змеей. На скуластом лице Охони с при-

⁴ Кат – палач. (Прим. Д. Н. Мамин-Сибиряка.)

плюснутым носом и узкими темными глазами всего замечательнее были густые, черные, сросшиеся брови – союзные, как говорили в старину. Такие брови росли, по народному поверью, только у счастливых людей. Одета она была во все домашнее, как простая деревенская девка.

– Это чья такая будет? – спрашивал Белоус, когда Охоню от оконца оттащила дюжая солдатская рука: шел на допрос сам воевода.

– Моя, видно, – ответил Арефа не без гордости. – Дочерью прежде звали...

– Что-то не похожа на тебя, – усомнился Белоус.

– Говорят тебе, что моя! – сказал Арефа. – Не лошадь, тавра не положено.

– То-то вот и есть, что дочь твоя, а тавро-то чужое...

– Молчи, пес! Может, она поближе, чем своя, а как уж она мне приходится, и сам не беру... Эх, вышло тут одно неудобь-сказуемое дельце. Еще при игумене Поликарпе вышло-то, когда он меня на неводьбу в орду посылал, на степные озера. Съездил я до трех раз и все благополучно: преподобный Прокопий проносил, а тут моя-то дьячиха и увяжись за мной. «Скушно мне без тебя, Арефа, поеду с тобой». – «Куда ты, глупая? В степе-то наедут кыргызы и заколют обоих». – «Ничего, говорит, когда, говорит, я у батюшки в Черном Яру в девках еще жила, так они, собаки, два раза наезжали, а я из ружья в них палила, в собак»... Дьячиха-то у меня орел-баба. Ну, собрались мы со своею худобой и поехали в степь. На озера приехали благополучно и целую неделю так-то и прожили, а тут ночью, под Ильин день, собаки-кыргызы и наехали... Мы вместе с дьячихой-то спали, – ну, один кыргыз меня копьём к земле приколол, а другой ухватил дьячиху и уволок. Не далась бы она живою, кабы не сонная, – мертвый у ней сон. Так ее, сердешную, в степь и увезли, а меня в монастырь предоставили колотого. Полгода я лежал так-то, – нога у меня насквозь копьём пройдена. Пришел после в свою избенку на Служней слободе и горько всплакал: не стало моей дьячихи. Однако помолился я преподобному Прокопию, а он и ущитил мою дьячиху от орды: через полгода выворотилась дьячиха-то из степи... Ушла одвуконь ночным делом, когда орда спала. Ну, а только выворотилась она такая...

– Какая?

– Да уж такая... Отяжелела в орде моя дьячиха, вот такая... Ну, а потом разродилась вот этою самою Охоней. Других детей у нас нет, вот нам и вышла радость на старости лет. За свою растим... Бог дал Охоню.

Белоус ничего не сказал, а только съездил богатырские плечи. Красивый был казак, кудрявый, глаза серые, бойкие, а руки железные. День и ночь он думал об одном, а Охоня нарушила его вольные казацкие мысли.

II

Охоня стала ходить к судной избе каждое утро, чем доставляла немало хлопот караульным солдатам. Придет, подсядет к окошечку, да так и замрет на целый час, пока солдаты не прогонят. Очень уж жалела отца Охоня и горько плакала над ним, как причитают по покойникам, – где только она набрала таких жалких бабьих слов!

– Родимый ты мой батюшка, застава наша богатырская! – голосила Охоня, припадая своей непокрытой девичьей головой к железной оконной решетке. – Жили мы с матушкой за тобой, как за горою белокаменной, зла-горя не ведали...

Эти причеты и плачи наводили тоску даже на солдат, – очень уж ревет девка, пожалуй, еще воевода Полуект Степаныч услышит, тогда всем достанется. Охоня успела разглядеть всех узников и узнавала каждого по голосу. Всех ей было жаль, а особенно сжималось ее девичье сердце, когда из темноты глядели на нее два серых соколиных глаза. Белоус только встряхивал кудрями, когда Охоня приваливалась к их окну.

– Не застуй⁵, девка... – заметил он ей всего один раз. – Без тебя тошно.

Ходила, ходила Охоня, надоело попу Мирону ее ждать, и уехал он домой вместе со служкой Гермогеном, а Охоня дошла-таки до своего. Пришла она раз своим обычаем к судной избе, припала к оконцу, а солдаты накинулись отгонять ее.

– Убирайся, девка, откуда пришла! – кричал на нее сердитый капрал.

– Я не девка, а отецкая дочь, – бойко отвечала Охоня.

– Сказывай, а все-таки убирайся подобру-поздорову... Воевода придет, так наотвечаясь за тебя, а вся-то твоя девичья цена: наплевать. Проваливай, говорят...

– Не пойду!.. Не трожь, говорят!

Сначала солдаты старались оттолкнуть Охоню вежливенько, кто плечом, кто кулаком, но она остервенилась и накинулась на солдат, как волчица.

– Креста на вас нет, скобленные рыла!.. – кричала Охоня, цепляясь за солдатскую амуницию. – Девка им помешала... Стыда у вас в глазах нет!..

Слово за слово, и кончилось дело рукопашной. Проворная и могутная была дьячковская дочь и надавала команде таких затрещин, что на нее бросился сам капрал. Что тут произошло, трудно сказать, но у Охони в руках очутилась какая-то палка, и, прислонившись к стене, девушка очень ловко защищалась ею от наступавшего врага. Во время свалки у Охони свалился платок с головы, и темные волосы лезли на глаза.

– Не давайся, Охоня, вшивой команде! – послышался из подземелья знакомый молодой голос. – Катай их по бритым-то рылам!

В самый критический момент, когда Охоня уже ослабевала, к судной избе подъехал верхом на гнедом иноходце сам воевода Полуект Степаныч.

– Стой, команда! – зычно крикнул он на солдат. – Что за драка?

– Вот девка увязалась, – жаловался капрал. – Никак не могли ее отогнать от избы.

– Не девка, а отецкая дочь! – с гордостью ответила Охоня.

Воевода Чушкин, старик с седой коренной бородкой, длинным носом и изрытым оспой «шадривым» лицом, держался в седле еще молодцом. Он оглядел Охоню с ног до головы и только покачал головой. Смущенная стража сбилась в одну кучу, как покрытые решетом молодые петухи. Воспользовавшись воеводским раздумьем, Охоня кубарем бросилась начальству в ноги, так что шарахнулся в сторону иноходец, а затем уцепилась за воеводское стремя.

– Ущити, воевода, честную отецкую дочь! – кричала Охоня. – Твои солдаты безвинно опростоволосили и надругались над моею дивьей красотой... Смертным боем хотели убить.

⁵ Не застуй – не заслоняй света. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

– Постой, дура! – крикнул воевода, сдерживая шарашившуюся лошадь. – Откедова ты взялась-то, жар-птица?.. Чего тебе надобно?

– Батю отдай, воевода... моего батю... Безвинно он на цепь посажен. Мамушка слезами изошла... Дьячил батя в Служней слободе, а игумен Моисей по злобе его заковал.

Воевода грозно нахмурился, стараясь припомнить дьячка из Служней слободы. Мало ли у него народа по затворам сидит. Но какая-то неожиданная мысль осенила воеводское чело, и старик подозвал капрала.

– Выпустить колодников! – приказал он. – А ты, отецкая дочь, лошадь-то не пугай у меня! Дуры эти бабы, прямо сказать. Ну, чего голосишь-то? Надень платок, глупая...

Загремел тяжелый замок у судной тюрьмы, и узников вывели на свет божий. Они едва держались на ногах от истомы и долгого сидения. Белоус и Аблай были прикованы к середине железного прута, а Брехун и Арефа по концам. Воевода посмотрел на колодников и покачал головой, – дескать, хороши голуби.

– Ну, отецкая дочь, выбирай любого, – сказал воевода. – Ни которого не жаль.

Конечно, Охоня бросилась к отцу и повисла на его шее со своими бабьими причитаньями, так что воевода опять нахмурился.

– Будет, не люблю, – сказал он и прибавил, обращаясь к капралу: – Раскуйте этого дурака дьячка, а с игуменом я свой разговор буду иметь.

Арефа стоял и не мог произнести ни одного слова, точно все происходило во сне. Сначала его отковали от железного прута, а потом сняли наручни. Охоня догадалась и толкнула отца, чтобы падал воеводе в ноги. Арефа рухнул всем телом и припал головой к земле, так что его дьячковские косички поднялись хвостиками вверх, что вызвало смех выскочивших на крыльцо судейских писчиков.

– Кормилец, Полуехт Степаныч, безвинно от игумна претерпел, – заговорил Арефа, стучась лбом в землю.

– Ну, ладно, потом разберем, – ответил воевода. – Кабы не вырастил такую вострую дочь, так отведаешь бы тебе у Кильмяка лапши... А ты, отецкая дочь, уводи отца, пока игумен не нагнал, в город.

Охоня, как птица, подлетела к воеводе и со слезами целовала его волосатую руку. Она отскочила, когда позади грянула цепь, – это Белоус схватил железный прут и хотел броситься с ним на воеводу или Охоню, – трудно было разобрать. Солдаты вовремя схватили его и удержали.

– Гей, приковать его за шею отдельно от других! – скомандовал воевода.

– Спасибо на добром слове, – поблагодарил Белоус, делая отчаянную попытку вырваться из вцепившихся в него дюжих рук. – А ты, отецкая дочь, попомни Белоуса.

Эти слова заставили Охоню задрожать – не боялась она ни солдат, ни воеводы, а тут испугалась. Белоус так страшно посмотрел на нее, а сам смеется. Его сейчас же увели куда-то в другое подземелье, где приковал его к стене сам Кильмяк, пользовавшийся у воеводы безграничным доверием. На железном пруте остались башкир Аблай да слепец Брехун, которых и увели на старое место. Когда их подводили к двери, Брехун повернул свое неподвижное лицо и сказал воеводе:

– Не в пору ты разлакомился, Полуехт Степаныч... Дерево не по себе выбираешь, а большая кость у волка поперек горла встает.

Арефе сделалось даже совестно, когда низенькая деревянная дверь, обитая толстыми железными полосами, точно проглотила его недавних товарищей по сидению в «узилище». Сам он через девку вышел на волю и читал немой укор своей мужской гордости на окружающих лицах.

Воевода подождал, пока расковали Арефу, а потом отправился в судную избу. Охоня повела отца на монастырское подворье, благо там игумена не было, хотя его и ждали с часу

на час. За ними шла толпа народу, точно за невиданными зверями: все бежали посмотреть на девуку, которая отца из тюрьмы выкупила. Поравнявшись с соборною церковью, стоявшею на базаре, Арефа в первый раз вздохнул свободнее и начал усердно молиться за счастливое избавление от смертной напасти.

– Охонюшка, милая, не ты меня выкупила своими слезами, – сказал он дочери, – а бысть мне в нощи прещение... Видел я преподобного Прокопия и слезно плакался: его молитвами умягчилось воеводное сердце.

– Скорее бы только из городу выбраться, батя, – говорила Охоня, – а там уж все вместе помолитвуем преподобному.

– Ох, и то бы скорее!..

Арефа шел с трудом: и ноги, избитые кандалами, болели, да и сам он шатался от слабости. Когда купцы увидали выпущенного на волю колодника, то надавали ему медных денег. Арефа даже прослезился от сыпавшейся на него благодати.

Город Усторожье был не велик: дворов на шестьсот. Постройки все деревянные, как воеводский двор и старая церковь. Каменное здание было одно – новый собор, выстроенный тщанием, а отчасти иждивением воеводы Чушкина. Все это деревянное строение было обнесено земляным валом, а на валу шел тын из бревен, деревянные рогатки и «надолбы». По углам, где сходились выси, поднимались срубленные в паз деревянные башни-бойницы. Трое ворот вели из города: одни – на полдень, другие – на север, а третьи – прямо в орду, то есть в степь. Усторожье вырос из небольшого пограничного острожка, в котором казаки отсиживались и от башкир, и от киргизов, и от калмыков. Боевое местечко выдалось, и в случае «заворохи» сюда сбегались поселщики из всех окрестных деревень, поселков и займищ, пока не улеглась гроза.

Монастырское подворье было сейчас за собором, где шла узкая Набежная улица. Одноэтажное деревянное здание со всякими хозяйственными пристройками и большими хлебными амбарами было выстроено еще игуменом Поликарпом. Монастырь бойко торговал здесь своим хлебом, овсом, сеном и разными припасами. С введением духовных штатов подворье точно замерло, и громадные амбары стояли пустыми.

– Жаль, што поп-то Мирон уехал, – жалел Арефа, присаживаясь на скамеечку у ворот подворья перевести дух. – Довез бы он нас по пути.

– И пешком дойдем, батя, только бы из города поскорее вырваться, – говорила Охоня, занятая одною мыслью. – То-то мамушка обрадуется...

В подворье сейчас никого не было, кроме старца Спиридона, проживавшего здесь на покое, да нескольких амбарных мужиков из своей монастырской вотчины. Арефу встретили, как выходца с того света, а дряхлый Спиридон даже прослезился.

– Мертв был, а теперь ожил, – шептал старик и качал своею седою головой, когда Охоня рассказывала ему, как все случилось. – На счастливого все, Охоня. Вот поп-то Мирон обрадуется, когда увидит Арефу... Малое дело не дождался он: повременить бы всего два дни. Ну, да тридцать верст⁶ до монастыря – не дальняя дорога. В двои сутки обернетесь домой.

Первым делом, конечно, была истоплена монастырская баня, – Арефа едва дождался этого счастья. Узникам всего тяжелее доставалось именно это лишение. Изъеденные кандалами ноги ему перевязала Охоня, – она умела ходить за больными, чему научилась у матери. В пограничных деревнях, на которые делались постоянные нападения со стороны степи, женщины умели унимать кровь, делать перевязки и вообще «отхаживать сколотых».

– Зело оскорбел во узилище, доченька, – жаловался Арефа. – Сидел на гноище, как Иов многострадаальный...

⁶ В старину версты считались в тысячу сажень. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

Забравшись в бане на полоч, Арефа блаженствовал часа два, пока монастырские мужики нещадно парили его свежими вениками. Несколько раз он выскакивал на двор, обливался студеную колодезною водой и опять лез в баню, пока не ослабел до того, что его принесли в жилую избу на подрыснике. Арефа несколько времени ничего не понимал и даже не сознавал, где он и что с ним делается, а только тяжело дышал, как загнанная лошадь. Охоня опять растирала ему руки и ноги каким-то составом и несколько раз принималась плакать.

– Перестань, дура, – проговорил очнувшийся Арефа. – Исхитил преподобный Прокопий из львиных челюстей неврежда, а вперед – бог. Сподобился и в бане попариться.

После бани старец Спиридон преподнес Арефе монастырского травника, который на подворье не переводился, и недавний узник даже крикнул от удовольствия. Но не успел он поднести чарку ко рту, как в дверях появились два солдата с воеводского двора.

– Где здесь дьячок Арефа? – спрашивал старший.

– Нету его, – уехал домой! – ответила за отца Охоня.

– А нас прислал воевода за ним: надобен на воеводский двор немедленно. Строгий наказ от самого воеводы. Погоню пошлет, ежели уехал.

Арефа перекрестился, выпил чару и отвечал:

– Здесь! Девка по глупости сболтнула, што уехал. Вот уж оболкусь и предстану воеводе.

– Ты поскорее, дьячок, – воевода не любит ждать.

У Охони даже сердце упало, когда она увидела воеводских «приставов»: надо было сейчас же бежать из города, а теперь воевода опомнился и опять посадит батю в темницу. Она помогала отцу одеваться, а сама была ни жива ни мертва, даже зубы чокали, точно в трясовице.

– Батя, не ходи: расскажит тебя воевода, – шепнула она отцу. – А то лучше я с тобой сама пойду.

Освеженный баней, Арефа совсем расхрабрился и даже цыкнул на дочь, зачем суется не в свое дело. Главное, не было в городе игумена Моисея, а Полукет Степаныч помилует, ежели подвернуться в добрый час.

Бедная Охоня опять горько плакала, когда пристава повели отца на воеводский двор.

III

Воевода Полуект Степаныч, проводив дьячка Арефу, отправился в судную избу производить суд и расправу, но сегодня дело у него совсем не клеилось. И жарко было в избе, и дух тяжелый. Старик обругал ни за что любимого писчика Терешку и вообще был не в духе. Зачем он в самом-то деле выпустил Арефу? Нагонит игумен Моисей и поднимет свару, да еще пожалуется в Тобольск, – от него все станет.

– А девка – мак! – проговорил воевода, когда Терешка подсунил ему какую-то бумагу.

– Мак-то мак, да не совсем, – ответил Терешка, один из всей приказной челяди осмеливавшийся разговаривать с воеводой.

– А што?

– Да так... Неспроста это дело вышло, Полуехт Степаныч: дьячок-то Арефа зазнамый волхит⁷.

– Н-но-о?

– Да уж верно: и кровь умеет заговаривать, и траву всякую знает. Кого змея укусит, лошадь разнежится, с глазу кому попритчится, – все к Арефе идут. Не прост человек, одним словом...

Это известие заставило воеводу задуматься. Дал он маху – девка обошла, а теперь Арефа будет ходить по городу да бахвалиться. Нет, нехорошо. Когда пришло время спуститься вниз, для допроса с пристрастием, воевода только махнул рукой и уехал домой. Он вспомнил нехороший сон, который видел ночью. Будто сидит он на берегу, а вода так и подступает; он бежать, а вода за ним. Вышибло из памяти этот сон, а то не видать бы Арефе свободы, как своих ушей.

Воеводский двор стоял тоже у базарной площади, как и монастырское подворье, только по другую сторону, где шли мелкие лавочки с разным товаром. Одноэтажный деревянный дом со слюдяными оконцами и железною крышей тянулся сажень на десять и на улицу выходил пузатым раскрашенным крылечком. Внутренние покои были низки, но уютны. В одной половине воевода проживал сам, а в другой помещалась его воеводская канцелярия. Места в доме хватило бы еще на две семьи, благо Полуект Степаныч жил с женой Дарьей Никитичной сам-друг, – детей у них не было. Покои внутри были расписаны, а на полу везде лежали бухарские ковры, которые воевода получал в благодарность с менового двора и торговых застав. Всякого добра было достаточно у воеводы, кроме того, что детками господь не благословил. Это всего больше сокрушало воеводшу, ездившую много раз в Прокопьевский монастырь, советовавшуюся со знахарями и бабами-ведуньями, а толку никакого. Брюзгая и толстая Дарья Никитична горько плакалась на свою судьбу, а бабьи годы все уходили да уходили...

– Што воротился-то спозаранку? – встретила она мужа.

– Так, – коротко ответил воевода. – Не твоего бабьего ума дело.

Воевода выпил чарку любимого травника от сорока немощей, который ему присылали из монастыря, потом спросил домашнего меду, – ничто не помогало. Проклятый дьячок не выходил из головы, хоть ты что делай. Уж не напустил ли он на него какой-нибудь порчи, а то и прямо сглазил?.. Долго ли до греха? Вечером воеводе совсем стало невтерпеж, и он отправил за дьячком своих приставов.

«А девка гладкая, – думал воевода и отплевывался от нечестивой мысли, заползавшей в старую голову. – Как ее звать-то? А ловко она солдат орясиной шарашила... Одним словом, удалая девка».

В ожидании дьячка воевода сильно волновался и несколько раз подходил к слюдяному окну, чтобы посмотреть на площадь, не ведут ли пристава волхита. Когда он увидел приближа-

⁷ Волхит – волшебник. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

ющуюся процессию, то волнение достигло высшей степени. Арефа, войдя в воеводские покои, повалился воеводе прямо в ноги.

– Ну, вот что, несообразный человек, – заговорил воевода, – выпустить я тебя выпустил, а отвечать-то игумену кто будет?

– Безвинно я томился в узилище, Полуехт Степаныч, – взмолился Арефа, стоя на коленях. – Крестьяне бунтовали и хотели игумна убить, а я не причинен... Служил я в своей слободе у попа Мирона и больше ничего не знаю. Весь тут, Полуехт Степаныч, дома нисколько не осталось.

– Хорошо, хорошо... Там после увидим, а что ты теперь-то думаешь делать?

– А в Служную слободу домой проберусь. Моя дьячиха, слышь, без утыху ревет.

– Ах, глупая голова!.. Ну, придешь ты к себе в слободу, а игумен опять тебя закует в железо и привезет ко мне... Это как?.. Тогда уже пеняй на себя, а во второй раз я не буду тебя выпускать... Дьячиха-то твоя тогда не так заревет.

– Смилуйся, Полуехт Степаныч, житья мне не стало от игумна... Безвинно он лютует.

– Ну, это ваше дело, а я не судья монастырские дела разбирать. Без того мне хлопот с вашим монастырем повыше усов... А я тебе вот что скажу, Арефа: отдохнешь денек-другой на подворье, да подобиру-поздорову и отправляйся на Баламутские заводы... Прямо к Гарусову приедешь и скажешь, што я тебя прислал, а я с ним сошлюсь при случае...

– А как же дьячиха-то, Полуехт Степаныч?

– Увидишь и дьячиху по пути, когда поедешь мимо монастыря. Только проезжай ночью, штобы на глаза игумену не попасть. Тебе же добра желаю, дураку...

Это предложение совсем обескуражило Арефу, и он никак не мог взять в толк, что он будет делать на заводах у Гарусова. Совсем не по его духовной части, да и расстаться с Служнею слободой тяжело. Ох, как тяжело, до смертыньки!

– Ну, один разговор кончили, а теперь заведем другую речь, – заговорил воевода ласково и даже потрепал Арефу по плечу. – Вот што, милый друг, сказывал мне один человек, што ты зазнамый волхит: и кровь затовариваешь, и с порченными людьми отваживаешься.

– Поклепали напрасно, Полуехт Степаныч. Куда мне при моей худости такими неподобными делами заниматься?

– На виноватого с поклепом! – засмеялся воевода. – Не бойся, не выдам никому, а дельце есть у меня к тебе, и не маленькое...

Старик огляделся, припер дверь на всякий случай и, усадив дьячка на скамью, проговорил тихим голосом:

– Два у меня дела к тебе, Арефа... Озолочу, коли потрафишь, а не потрафишь – не взыщи. Первое дело, не наградил меня господь детками, а моя воеводша уж в годках и совсем жиром заплыла.

– Слыхивал, Полуехт Степаныч, только мудреное дело... У меня так же с дьячихой было, пока ее в полон не угнали.

– Дурак... Што же мне свою жену, по-твоему, в полон тоже отдать? Прямой ты дурак, дьячок.

– Обмолвился, Полуехт Степаныч... Есть хорошее средство от неплодия: изловить живого воробья, вынуть из него сердце, сжечь и пеплом поить воеводшу по три утренних зари, а самому медвежьей желчью намазаться. Помогает, особливо ежели с молитвой... На всякое любовное дело способствует и от неплодия разрешает.

– Чего-нибудь врешь, поди?

– Сейчас провалиться, не вру... А другое средство, Полуехт Степаныч, совсем уже секретное и даже неудобь-сказуемое.

– Говори.

– Да ведь грешно и говорить-то!..

– Говори.

– Видишь ли какое дело, Полуехт Степаныч. В степи я слышал от одного кыргыза: у них ханы завсегда так-то делают. Ты уж не сердитуй на меня за глупое слово. Ежели, напримерно, у хана нет детей, а главная ханша старая, так ему привозят молоденькую полоняночку, чтоб он размолодился с ней. Разгорится у него сердце с молоденькой, и от старой жены плод будет.

– Послушай, Арефа, за такие твои слова тебя надо к Кильмяку отправить, – пошутил воевода и ухмыльнулся. – Ах ты, оборотень, што придумал!.. Только мне это средство не по моему чину и не по закону христианскому, да и свою Дарью Никитишну не желаю обижать на старости лет. Ах, какое ты мне слово завернул, Арефа. Да ведь надо, чтобы молодая-то полюбила старика!

– Ну, это не больно кручиновато дело, Полуехт Степаныч. Самому можно помолодеть, коли понадобится. И нет того проще... Закажи белый плат, чтобы его выткала безвинная девица, да тем платом по семь зорь снимай с пшеничного колоса росу и мажь ей лицо, а то и обвяжи этим платом. Которое лицо рябое или угриновато, все сгонит росой-то...

– Верно говоришь?

– Уж так верно, што вернее не бывает.

Воевода совсем развеселился и даже подал дьячку из собственных рук чарку заветного монастырского травника.

– Из нашей обители травничок, – заметил Арефа, пропустив чарку. – Лучше его нигде не сыщешь.

За хороший совет воевода наградил дьячка еще деньгами и отпустил домой, повторив свой наказ поскорее убираться из города. В последнем случае хитрый старик хлопотал не столько о дьячке, сколько о самом себе: выпустил он дьячка, а того гляди, игумен нагонит.

Воеводе Полуекту Степанычу уже надоело возиться с разборкой монастырской дубинщины, тем более что бунтовавшие крестьяне уже отписаны были от монастыря по новым духовным штатам. Из разборки ясно выступало одно, что кругом был виноват перестроживший игумен Моисей, утеснявший своих монастырских крестьян непосильными работами и наказывавший их нещадно за малейшую провинность. Целых два года тянулась разборка, и Полуект Степаныч, наконец, устал. Конечно, и крестьянщики были тоже виноваты, зачем поднялись «с уязвительным оружием» на игумена и чуть не порушили самый монастырь. И как ведь поднялись: тысячи три народу сбилось. Озверели вконец, полезли к монастырским стенам, а игумен их кипятком со стен варил, горячею смолою обливал, из пищалей палил и смертным боем бил. Хорошо, что вовремя дошла весть о монастырской «заворохе» в Усторожье, и монастырь выручили рейтары, проживавшие на винтер-квартирах, да драгунский полк, подоспевший из Тобольска. Как ударила эта воинская сила, так дубинщина и разбежалась по своим углам.

– Суди бог игумена, – часто повторял Полуект Степаныч, производя расправу над крестьянами. – Не нам, грешным, судить его высокий сан.

Целыми толпами приводили в Усторожье замешанных в дубинщине крестьян, и воевода творил нещадный суд. А игумен разгорелся яростью и присылал все новых виновников, которых разыскивал по бывшим монастырским деревням. Опалился на них игумен больше всего за то, что вскоре за дубинщиной введены были духовные штаты, и крестьяне объясняли, что это они своей дубинщиной доняли монастырь. Игумен хватал без разбору каждого, на кого только доносили. К таким случайным бунтарям принадлежал и дьячок Арефа, вины которого воеводский сыск не мог найти, несмотря ни на какое пристрастие. И слепец Брехун тоже, – он попал за какие-то «поносные речи» на игумена. Вот беломестный казак Белоус – другое дело: этот кругом виноват... Он подводил толпы дубинщиков к монастырским воротам и похвалялся разнести весь монастырь по кирпичику. Попался Белоус в руки воеводы одним из последних, потому что после дубинщины больше года скрывался где-то на Яике, по казачьим уметам.

– Арефу выпустил, а с Белоусом разделаюсь, – утешал себя воевода.

IV

Из Усторожья под вечер выезжала простая крестьянская телега, в которой ехал Арефа с дочерью Охоней по монастырской дороге. Лошадь и телегу они должны были сдать в монастырь.

– Пронесло тучу мороком, а все преподобный Прокопий, о Христе юродивый, – повторял дьячок вслух и крестился. – Легкое место сказать, высидал в узилище цельную зиму, а теперь отрыгнут на волю, яко от кита Иона.

Охоня правила лошастью и больше молчала. Она часто оглядывалась, точно боялась за собой погони. Да и было чего бояться: у нее с ума не шел казак Белоус, который пригрозил ей у судной избы: «А ты, отецкая дочь, попомни Белоуса!» Даже во сне грезился Охоне этот лихой человек, как его вывели тогда из тюрьмы: весь в лохмотьях, через которые видно было покрытое багровыми рубцами и незажившими свежими ранами тело, а лицо такое молодое да сердитое. Когда Белоус бросился на воеводу, Охоня закрыла лицо руками и покорно ждала, как он ударит ее железным прутком, ей так и казалось, что сейчас смерть. Не теперь, так потом убьет, коли пообещал... Ухаживая на монастырском подворье за отцом, Охоня все время думала о Белоусе и вздрагивала от малейшего шороха. И теперь дорогой она все боялась, хотя не говорила отцу ни слова.

Дорога в монастырь наполовину шла лесом. Ехать ночью, пожалуй, было и опасно, если бы не гнала крайняя нужда. Арефа поглядывал все время по сторонам и говорил несколько раз:

– Ну, чего с нас взять, Охоня, ежели разбойные люди подвернутся?

– Ничего у нас нет, батя, – соглашалась Охоня. – Поп Мирон вон не боится... А на него грозились, потому как он с собой деньги возит.

– Попа-то Мирона не скоро возьмешь, – смеялся Арефа. – Он сам кого бы не освежевал. Вон какой он проворнящий поп... Как-то по зиме он вез на своей кобыле бревно из монастырского лесу, ну, кобыла и завязла в снегу, а поп Мирон вместе с бревном ее выволок. Этакого-то зверя не скоро возьмешь. Да и Герасим с ним тоже охулки на руку не положит, даром што иноческий чин хочет принять. Два медведя, одним словом.

Ночь застала путников на полдороге, где кончался лес и начинались отобранные от монастыря угодья. Арефа вздохнул свободнее: все же не так жутко в чистом поле, где больше орда баловалась. Теперь орда отогнана с линии далеко, и уже года два, как о ней не было ни слуху ни духу. Обрадовался Арефа, да только рано: не успела телега отъехать и пяти верст, как у речки выскочили четверо и остановили ее.

– Стой!.. Кто жив человек едет?

Двое ухватили лошадь, а двое приступили к телеге.

– Обознались, други милые, – ответил Арефа. – Поймали, да не ту птицу... Дьячок Арефа из затвору едет, а взять с него нечего, окромя язв и ран.

– Ах ты, дурень старый! – ругались разбойные люди. – А мы думали, кто другой.

– Ступайте к попу Мирону, у него денег много, – посоветовал ехидно Арефа. – Будет пожива... Пожалуй, вот девку мою возьмите, надоело мне ее кормить.

– Не до девок нам, дурья голова!

Разбойные люди расспросили дьячка про розыск, который вел в Усторожье воевода Полукт Степаныч, и обрадовались, когда Арефа сказал, что сидел вместе с Белоусом и Брехуном. Арефа подробно рассказал все, что сам знал, и разбойные люди отпустили его. Правда, один мужик приглядывался к Охоне и даже брал за руку, но его оттащили: не такое было время, чтобы возиться с бабами. Охоня сидела ни жива ни мертва, – очень уж она испугалась. Когда телега отъехала, Арефа захохотал.

– Вот дураки-то! – говорил он. – Они за лошадь, а я преподобному Прокопию молитву творю... Прямо дураки!.. Где же им супротив нашего заступника устоять, Охонюшка?

Все-таки благодаря разбойным людям монастырской лошади досталось порядочно. Арефа то и дело погонял ее, пока не доехал до реки Яровой, которую нужно было переезжать вброд. Она здесь разливалась в низких и топких берегах, и место переправы носило старинное название «Калмыцкий брод», потому что здесь переправлялась с испокон веку всякая степная орда. От Яровой до монастыря было рукой подать, всего верст с шесть. Монастырь забелел уже на свету, и Арефа набожно перекрестился.

– Привел господь мне, недостойному, узреть святую обитель, – проговорил он и даже прослезился.

Начались пашни, а в сторону Яровой ушли зеленою полосой монастырские поемные луга, на которых случалось работать и Арефе, когда он состоял в обители на смирении. И хороши места – скатерть скатертью! И Яровая-то как разливается... Арефа глядел по сторонам и не мог налюбоваться. Под самым монастырем река была сдавлена каменистой грядой. Правый берег поднимался высокой кручей, на которой красовался густой сосновый бор. Левый берег широким языком вдавался в реку, и на этом откосе рассыпала свои деревянные избышки Служняя слобода с бревенчатой церковкой посредине. Монастырь стоял ниже, на самом берегу, и далеко белел своими зубчатыми каменными стенами, сложенными еще игуменом Поликарпом. Арефа на околице вылез из телеги и велел Охоне ехать одной.

– А ты куда, батя?

– Поезжай, дура...

Когда телега с Охоней скрылась, Арефа пал на землю и долго молился на святую обитель, о которой день и ночь думал, сидя в своем затворе. Самое удобное место, и не будь дьячихи, Арефа давно бы постригся в монахи, как Герасим. Да и не стоило на миру жить. Отдохнуть хотел Арефа и успокоить свою грешную душу. Будет, до зла-горя черпнул он мирской суеты, и пора о душе позаботиться. Всегда Арефа завидовал нескверному иноческому житию, и сама дьячиха уже не один раз говорила ему, что пора за божье дело приниматься, а о мирском позабыть.

Домой Арефа пошел задами, чтобы кто-нибудь на Служней его не узнал и не донес игумену Моисею. Он шел берегом Яровой и несколько раз перелезал через прясла огородов, выходящих прямо к реке. Вверх по реке, сейчас за Служней слободой, точно присела к земле своею ветхой деревянною стеною Дивья обитель, – там вся постройка была деревянная, и давно надо было обновить ее, да грозный игумен Моисей не давал старицам ни одного бревна и еще обещал совсем снести эту обитель, потому что не подобало ей торчать на глазах у Прокопьевского монастыря: и монахам соблазн, да и мирские люди напрасные речи говорили. Только была одна причина, которая делала игумена Моисея бессильным: в Дивьей обители сидела в затворе вот уже двадцать лет присланная из Петербурга неизвестная «болярыня». Кто она такая, знал один игумен Моисей. Когда умерла императрица Елизавета, игумен думал, что «болярыню» выпустят, но наступил Петр III, потом Екатерина II, а «болярыня» все сидела и сидела: ее забыли там, в Петербурге. Так Дивья обитель и держалась своею именитою узницей.

Дьячковская избышка стояла недалеко от церкви, и Арефа прошел к ней огородом. Осенью прошлого года схватил его игумен Моисей, и с тех пор Арефа не бывал дома. Без него дьячиха управлялась одна, и все у ней было в порядке: капуста, горох, репа. С Охоней она и гряды копала, и в поле управлялась. Первым встретил дьячка верный пес Орешко: он сначала залаял на хозяина, а потом завизжал и бросился лизать хозяйские руки. На его визг выскочила дьячиха и по обычаю повалилась мужу в ноги.

– Родимый ты мой, Арефа Кузьмич! – причитала она истощным голосом, обнимая мужа за ноги. – И не думала я тебя в живых видеть, солнышко ты мое красное!..

– Тише, баба!.. – окликнул Арефа жену. – Чему обрадела-то?

Дьячиха Домна Степановна была высокая, здоровенная женщина, широкая в кости и с таким рябым лицом, про которое все соседи говорили, что по ночам на нем черт горох молотил. Некрасива была дьячиха, но зато могла воротить весь дом, да еще успевала обругать всю свою улицу. На Прокопьевской ярмарке она торговала квасом и калачами, а по зимам сама ездила за дровами. Одним словом, клад – не баба, если б не побывала в полоне у орды. Чуть что, свои бабы и начнут корить богоданною дочкою Охоней, которую дьячиха из орды принесла. Охоня часто плакала, когда ребята на улице ей проходу не давали: и раскосая, и черная, и киргизская кость. Матери подучат, а ребяташки выкрикивают.

Вошел Арефа в свою избушку и долго молился образу Прокопия, который стоял в переднем углу, а потом уже поздоровался с женой.

– Ну, здравствуй, Домна Степановна... Каково живешь-можешь?

– Ох, и не спрашивай, Арефа Кузьмич! – всплакала дьячиха. – И свету божьего без тебя не видала... Глазыньки все проплакала.

Лошадь Арефа отправил к попу Мирону с Охоней, да заказал сказать, что она приехала одна, а он остался в Усторожье. Не ровен час, развяжет поп Мирон язык не ко времени. Оставшись с женой, Арефа рассказал, как освободила его Охоня, как призывал его к себе воевода Полуект Степаныч и как велел, нимало не медля, уезжать на Баламутские заводы к Гарусову.

– Опять ты сиротой останешься, Домна Степановна, – проговорил он ласково, жалея жену. – Сколь времени, а поживу у Гарусова, пока игумен утишится... Не то горько мне, што в ссылку еду и тебя одну опять оставляю, а то горько, што на заводах все двоеданы⁸ живут. Да и сам Гарусов двоеданит и ихнюю руку держит... Тошно и подумать-то, Домна Степановна.

Запричитала и завyla дьячиха пуще прежнего, пока муж не цыкнул на нее. Потом он осмотрел хозяйским глазом всю свою домашнюю худобу и за все похвалил дьячиху: все в порядке и на своем месте, любому мужику впору.

– День-то проболтаюсь у тебя, а в ночь выеду на заводы, – сказал Арефа, когда слышались шаги Охони. – Смотри, никому ни гугу...

Так целый день и просидел Арефа в своей избушке, поглядывая на улицу из-за косяка. Очень уж тошно было, что не мог он сходить в монастырь помолиться. Как раз на игумена наткнешься, так опять спаает и своим судом рассудит. К вечеру Арефа собрался в путь. Дьячиха приготовила ему котомку, сел он на собственную чалую кобылу и, когда стемнело, выехал огородами на заводскую дорогу. До Баламутских заводов считали полтора верста, и все время надо было ехать берегом Яровой.

За околицей Арефа остановился и долго смотрел на белые стены Прокопьевского монастыря, на его высокую каменную колокольню и ряды низких монастырских построек. Его опять охватило такое горе, что лучше бы, кажется, утопиться в Яровой, чем ехать к двоеданам. Служенная слобода вся спала, и только в Дивьей обители слабо мигал одинокий огонек, день и ночь горевший в келье безыменной затворницы.

– Двум смертям не бывать, а одной не миновать, – решил Арефа, понукая свою чалую кобылу.

Прокопьевский монастырь был основан в конце XVII столетия пустынножителем Саввой, в иночестве Савватием, когда кругом жила еще «орда» «обонпол Яровой». Около Савватия собрались благоуветливые старцы, искавшие спасения «в отишии» дремучих лесов по Яровой. Так возникла новая обитель, «яже в Сибирстей стране», а потом она переименовалась в общежительный монастырь. Инок Савватий по происхождению был не чужим для орды, потому что его мать была татарка. Казаки в большинстве случаев женились на татарках, о чем сибирский летописец повествует так: «Поколение в казацком сословии первоначально пошло

⁸ Двоеданами называли при Петре I раскольников, потому что они были обложены двойной податью. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

от крови татарок, которые, быв обласканы смелыми пришельцами, взошли на ложе их, впоследствии законное, по подобию сабинянок, и с чертами кавказского отродья не обезобразили мужественного потомства». Это обстоятельство много помогло Савватию удержаться в незнакомой стране, принадлежавшей кочевникам. На новую обитель делались частые нападения, и благоуветливые иноки отсиживались за деревянными стенами с разным «уязвительным оружием» в руках. Решительный момент для обители наступил, когда в степь был выдвинут новый городок Усторожье. Русская колонизация сразу двинулась вперед, и лихие времена для обители миновали навсегда. Если и приходилось ей терпеть напасти от орды, то помощь теперь была под рукой: воинские люди приходили из Усторожья и выручали обитель. Главное богатство Прокопьевского монастыря заключалось в земельных угодьях, захваченных еще до основания Усторожья. Лес, пашенные места, сенокосы, рыбные ловли, бортные ухажья и хмельники – всего было вволю, и монастырь быстро вырос и украсился на славу. Вклады благочестивых людей в монастырскую казну усилили это богатство, а несколько тысяч крестьян, осевших на монастырской земле, представляли собой даровую рабочую силу. Так было до введения духовных штатов, когда за монастырем не осталось и десятой части его земельных богатств, а крестьяне монастырских вотчин перечислены были на государя. Дубинщина являлась последним ударом. Игумен Моисей попал в разгар монастырского лихолетья, и это окончательно его ожесточило.

Одним словом, наступало новое время и новые порядки, и тот же игумен Моисей предпочел бы стародавние времена, когда приходилось выстаивать обители перед ордой одними своими силами, минуя всякую воинскую помощь.

V

После отъезда дьячка Арефы из Усторожья воевода Полуект Степаныч ходил как в воду опущенный. Всякое дело у его из рук валялось, и он точно забыл про судную избу, где заканчивалось дело по разборке монастырской «заворохи». Ходит воевода по своим покоям и тяжело вздыхает. А по ночам сна решился. Воеводша Дарья Никитична заприметила, что с мужем что-то попритчилось, но ни к чему не могла приложить своего бабьего ума. Она и наговорную соль клала воеводе под подушку, и мазала волчьим салом все пороги в доме, и даже с уголька спрыснула воеводу, когда он выходил из бани, – ничего не помогало. Дело раскрылось само собой, когда пришла к воеводше старуха, мать Терешки-писчика, и под великим секретом сообщила, что воевода испорчен волхитом, дьячком из Служней монастырской слободы, который через свое волшебство и из тюрьмы выпущен на соблазн всему городу. Приплела старая баба и отецкую дочь Охоню, которая ульстила своими девичьими слезами воеводино сердце.

Вскипело сердце у старой воеводши от неслыханного позора, и поднялась она настоящей медведицей.

– Ужо расскажу все игумну Моисею! – грозила она мужу. – Не буду я, ежели не скажу... Где это показано, штобы живых людей изводить?

– Перестань, старая дура! – огрызнулся воевода. – Истинно сказано, што долог волос у бабы, а ум короче воробьиного носу...

– А на девок зачем заглядываешься, насытые глаза?.. Все я знаю... Все... и все игумну Моисею расскажу, как на духу.

Невзлюбились такие поносные слова Полуекту Степанычу, снял он со стены киргизскую нагайку и поучил свою старую воеводшу, чтобы хоть чем-нибудь унять проклятый бабий язык.

– Не ты меня бьешь, Полуехт Степаныч, а дьячковский заговор! – вопила воеводша.

– А вот тебе и за дьячковский заговор прибавка! – орал воевода, работая тяжелой нагайкой. – Будешь еще поносные слова выговаривать?

Давно не бивал жены Полуект Степаныч, пожалуй, все лет пятнадцать, и стало ему совестно, когда воеводша слегла в постель от его науки... Не гожее это дело, когда старики дерутся; а вот попутал враг. Чтобы сорвать сердце, отправился воевода в судную избу, сел за свой стол и велел вывести на допрос беломестного казака Тимошку Белоуса. Загремели замки, заскрипели проржавевшие железные петли у дверей, вошли сторожа в яму к Тимошке, а его и след простыл. Когда он ушел и как ушел – все осталось неизвестным. Наказали плетью сторожей да солдат, прокарауливших самого главного преступника, а Полуект Степаныч совсем опустил голову. Все неспроста делалось кругом.

Окончательно заскучал усторожский воевода и заперся у себя в горнице. Поняла и воеводша, что неладно повела дело с самого начала: надо было без разговоров увезти воеводу в Прокопьевский монастырь да там и отомлить его от напущенных волхитом поганных чар. Теперь она подходила к воеводской горнице, стучалась в дверь и говорила:

– Голубчик, Полуехт Степаныч, поедем в монастырь, помолимся угоднику Прокопию. Не гожее это дело грешить нам с тобой на старости лет... Я на тебя сердца не имею, хотя и обидел ты меня напрасно.

– А игумну Моисею не будешь жалиться?

– Сказала, не буду. Только поедем...

– Што же, поедем... В монастырь так в монастырь, а у игумна Моисея зело добрый травник.

Воеводше только это и нужно было. Склалась она в дорогу живой рукой, чтобы воевода как не раздумал. Всю дорогу воевода молчал, и только когда их колымага подъезжала к Прокопьевскому монастырю, он проговорил:

– Испортил меня проклятый дьячок вконец.

Обыкновенно Полуект Степаныч завертывал к попу Мирону, а потом уже пешком шел в монастырь, но на этот раз колымага остановилась прямо у монастырских ворот. Воеводша так рассчитала, чтобы попасть прямо к обедне. В старой зимней церкви как раз шла служба. Народу набралось-таки порядочно.

– Што это у вас, никак праздник? – спросила воеводша служку-вратаря.

– Нет, сегодня пострижение нашего служки Герасима.

Церковь была полна, но народ расступился перед воеводой. Он стал на свое место у правого клироса, а воеводша на свое у левого. Длинная монастырская служба только еще начиналась. Любил воевода эту монастырскую службу: по-настоящему правил игумен Моисей весь церковный устав и даже навел своих певчих. Сегодня и служба была особенная... Начал молиться Полуект Степаныч, – и точно, ему сразу полегчало: гора с плеч. И воеводша тоже со слезами молится. Вот уже братия привела и ставленника, накрытого черным. Вышел игумен Моисей из алтаря, подали большие ножницы. Ставленник три раза сам подавал их игумену, и три раза игумен возвращал их, а в четвертый взял. Теперь только воевода заметил ставленника: такой рыжий, некрасивый да еще сутулый. Сам игумен был важный старик, с такими строгими голубыми глазами. Когда он занес ножницы над головой ставленника, в толпе раздался женский крик, от которого вздрогнула вся церковь.

Воевода оглянулся, точно ударили его ножом в сердце: в трех шагах от него выделилось из всех лиц искаженное отчаянием молодое женское лицо. Это была она, Охоня. Ее подхватили под руки и увели из церкви, а Полуект Степаныч стоял ни жив ни мертв, точно туманом его обдало. Страшно ему вдруг сделалось за свою грешную душу, за смелость, с какой он вошел в святой божий храм, за свое грешное бессилие, точно постригали его, а не безвестного служку Герасима. Он не помнил, как вышел из церкви и как очутился в келье у игумена.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.